

Последний дебют

Я, раненный насмерть, играл, Гладьяторов бой представляя...

Антракт между третьим и четвертым действиями кончался. Капельмейстер Иван Иванович фон Геккендольф только что добрался до самого интересного места увертюры, изображавшей очень наглядно плач иудеев в пленении вавилонском.

Иван Иванович ужасно любил такие пьесы, где все время шла отчаяннейшая fuga, где жалобное рыдание флейт смешивалось с патетическими восклицаниями кларнета, где гудел самым безжалостным образом тромбон, и все покрывалось глухим рокотанием турецкого барабана, где музыканты, приведенные в ужас этим хаосом звуков и готовые положить инструменты, кидали на капельмейстера взоры, полные самого мрачного, безнадежного отчаяния...

Тогда Иван Иванович производил чудеса: он бросался из стороны в сторону, делал самые трудные телодвижения, удивляя публику своею гибкостью, и, наконец, красный от усталости и волнения, обводил зрителей торжествующим взором, когда инструменты сливались в общем хоре.

На этот раз публика не могла отдать должного удивления музыкальным подвигам Ивана Иваныча, потому что все были заняты разговорами о драме, которая шла в первый раз. Называли вполголоса имя автора и указывали на литерную ложу, где сидел молодой человек с растрепанной шевелюрой.

На сцене шла суматоха. Алексей Трофимович Петунья, исполнявший одновременно должность и декоратора, и машиниста, и сценариста, был в страшном волнении.

Опускайте, опускайте кулисы-то! кричал он, бегая без сюртука по сцене. Да тише, осторожнее, говорят вам! Послушай, ты, баранья голова, как тебя звать? А Кириллом, отвечал, усмехаясь, кудрявый рослый парень.

Так ты, голубчик Кирилл, сбегай сейчас вниз, в кассу. Спроси у Андрей Филиппыча мой саквояж, понимаешь? Ну, мешочек такой, маленький, кругленький... Да ты пошевеливайся, бегом! Ну, что вы там заснули? Где же река-то? Николай Антонович, вы реку позабыли, давайте реку!

Пущай висит, отвечал сверху грубый голос, таперя кулисы мешают, тады легче будет.

А вы, Николай Антонович, вал починили? Прошлый раз Апемподистов четырнадцать зубцов сломал. Александр Петрович, я просто не знаю, что мне делать, облака истерзаны в клочки, река просвечивает, кулисы старые, гнилые...

Последние слова относились к антрепренеру и директору труппы, быстро проходившему через сцену с хлыстом в руке. Это был высокий, статный мужчина лет тридцати пяти. Лицо его, обрамленное густой гривой черных волос, живописно падавших на плечи, носило печать какой-то гордой, самоуверенной силы. Особенно хороши были его большие, серые, холодные глаза, тяжелый взгляд которых не могли выдержать многие, даже очень решительные люди.

Обратите, пожалуйста, внимание, вопил Алексей Трофимович, жестикулируя самым отчаянным образом. Андрюшка спать запил, старые кулисы никуда не годятся, могут упасть, разбить кому-нибудь голову...

Потом, потом, прервал рассеянно Александр Петрович. Где Гольская? Оне в уборной-с, если не ошибаюсь, отвечал Алексей Трофимович и опять побежал раздавать приказания.

Поднявшись наверх, Александр Петрович остановился перед маленькой крашеной дверью и постучал.

Кто там? Войдите! раздался за дверью приятный женский голос.

Лидия Николаевна Гольская была красавица.

Фигура

Без турнюра!

При входе антрепренера Лидия Николаевна сделала порывистое движение вперед, но опять опустилась в кресло, и только густой румянец залил ее бледные щеки.

Чем я обязана чести видеть вас у себя? спросила она через силу, и в тоне ее голоса зазвучали худо скрываемые горечь и презрение.

Александр Петрович тряхнул гривой черных волос. Этот прямой вопрос ему сильно не понравился, потому что он хотел приступить к объяснению исподволь.

Я просил бы вас, Лидия Николаевна, оставить, во-первых, этот тон, который мне неприятен, а затем хотел вам доложить, что меня положительно возмущают ваши вздохи и безнадежные взгляды. На каком основании это все делается? А сегодня вы, как будто нарочно, из рук вон плохо играете. Хорошо еще, что вас любит публика, а то ведь провалили бы пьесу, окончательно провалили бы... Чисто женская логика! Разозлится на одного человека, а делает неприятности двадцати пяти. Здесь, кроме меня, страдает автор, страдают ваши товарищи; я уверен, три четверти зрителей не слышали вашего умирающего голоса.

И он остановился против нее, раздраженный, взволнованный, ожидающий ответа.

Александр Петрович, представьте себе, заговорила, наконец, Лидия

Николаевна прерывающимся голосом, представьте себе женщину, которая полюбила горячо и сильно, полюбила в первый раз в жизни.

Александр Петрович сделал нетерпеливое движение.

Подождите немного! Представьте себе дальше, что она отдала все, что только может отдать женщина, а он надругался над этой горячей, слепую любовью, бросил эту женщину на произвол судьбы. И представьте себе, Александр Петрович, что этой женщине приходится развлекать тысячную толпу именно в то время, когда она, быть может, близка к самоубийству или к безумию!

Ну вот! Я так и знал, прервал нетерпеливо антрепренер, и к чему здесь эта напущенная иносказательность, когда вы могли бы прямо потребовать у меня объяснения? Когда я вам говорил, что я вас люблю, я говорил от чистого сердца, точно так же, как и вы... по всей вероятности. Если бы вы меня разлюбили, я не стал бы ныть и требовать любви! Если бы мне было тяжело, я повесился бы на первой балке моего театра; если бы меня мучила зависть и злоба против моего соперника, я не стал бы сдерживаться, а сделал бы то, что мне хотелось бы сделать: разбил бы, например, кому-нибудь голову вот этим самым графином...

Александр Петрович, возразила Гольская, вы забываете, кажется, что я женщина, что...

Ах, не все ли равно! Я, признаюсь, не понимаю, совершенно не понимаю сентиментальных пошляков, которые уверяют, что раз сошлись мужчина и женщина, между ними возникает какое-то взаимное нравственное обязательство. Стыдитесь, Лидия Николаевна! Так простительно думать девицам, которые, слышав в словах мужчины намек на любовь, тащат его к брачному сожителству! Я вам понравился, вы мне понравились, это, по-вашему, естественно? А разве неестественно и то, что вы мне перестали нравиться?

Александр Петрович! А ваши клятвы, обещания? Вспомните, как вы призывали все, что еще для вас осталось святого, в свидетели вашей любви! Что ж из этого? Или вы думаете, я сделан из дерева? Страсть, которая одинаково палила и меня и вас, заставила бы всякого на моем месте клясться точно так же, как клялся я! Ну, хорошо, положим, я должен был сдержать эти клятвы; да неужели вам будет приятно, если я начну снова уверять вас в своей любви, после того как сказал вам, и очень ясно, что вы мне перестали нравиться? А ведь вы должны со мной согласиться, что я не могу по произволу вызывать в себе нежные чувства!

Александр Петрович, вы хотя бы вспомнили, что я должна сделаться матерью, прошептала, отворачиваясь, Лидия Николаевна...

Она так была хороша в этом замешательстве, что у антрепренера мелькнула на мгновение мысль: а ведь я могу еще ее уверить, скажу, что хотел испытать.

Но это было только на мгновение; он отогнал соблазнительную мысль и отвечал суровым тоном:

Ну что же-с? Обеспечить законным образом существование ребенка? Этого вам хочется? С удовольствием...

Он не успел закончить фразы. Оскорбленная женщина встала с кресла и, задышавшись от гнева, произнесла почти шепотом:

Вон!

Это вон! было сильнее громкого крика. Человек, никогда, ни при каких обстоятельствах не терявшийся, покорно вышел, понутив голову.

Лидия Николаевна долго смотрела на затворившуюся дверь и почти без чувств опустилась в кресло. Тяжелые мысли, как кошмар, проносились и путались в ее голове, а вместе с ними создавалось и зрело какое-то ужасное решение.

Ваш выход, Лидия Николаевна, раздался через некоторое время сиплый тенор Вальцова, первого комика и не последнего шулера на все руки, как называл его язвительный Анемподистов, поскорее, пожалуйста.

Она сумела победить волнение, недаром она была превосходной артисткой, и сухо, но твердо отвечала:

Иду!.. Скажите, что иду.

На сцене было душно. Шел последний акт, в котором молодая девушка, обманутая возлюбленным (эту роль исполнял антрепренер) и осыпанная незаслуженными упреками, принимает яд и умирает, унося в могилу проклятия тому, кого она так сильно любила. Гольская стояла в ожидании своего выхода, прислонившись к кулисе, бледная, с шибко бьющимся сердцем. Кто-то взял и пожал ее руку. Она услышала над ухом участливый голос режиссера:

Вы бледны, как смерть, Лидия Николаевна, не хотите ли воды?..

Она молча, отрицательно покачала головой.

Начинается, начинается, со страхом думала Лидия Николаевна, спрошу в последний раз, и он должен ответить, должен под чужими словами понять мои мучения... Ах, как стучит сердце... А этот противный Анемподистов кричит и кривляется!

Она дождалась, наконец, момента, когда Анемподистов, изгибаясь в судорожных движениях, долженствовавших изображать гнев, удалился за кулисы, призывая замогильным басом все громы небесные на чью-то несчастную голову, дождалась резкого шепота режиссера: Вам, Лидия Николаевна, дождалась и вышла.

Она вышла, прекрасная и величественная в своей скорби, и уж один вид ее заставил вздрогнуть и забиться сотни сердец.

Она ничего не видала, кроме мощной фигуры, неподвижно стоявшей посреди

сцены, и сама не знала, какое чувство будила в ней эта фигура: прежнюю ли беззаветную любовь, или глубокую ненависть и презрение...

Что он скажет? проносилось в уме. Неужели не тронется это холодное сердце?

Скажи, что ты меня любишь, обними меня по-прежнему, я все отдала тебе, я тебя любила без конца, без оглядки... Но разве это возможно, разве осталась для меня какая-нибудь надежда?.. Вот он что-то говорит... Нет! Это те же холодные, жестокие слова, та же убийственная, рассчитанная насмешка...

Она рыдала, ломая руки, она умоляла о любви, о пощаде. Она призывала его на суд божий и человеческий и снова безумно, отчаянно рыдала...

Неужели он не поймет ее, не откликнется на этот вопль отчаяния?

И он один из тысячи не понял ее, он не разглядел за актрисой женщину; холодный и гордый, он покинул ее, бросив ей в лицо ядовитый упрек.

Она осталась одна.

Всем становилось жутко, каждый чувствовал, как по спине у него пробегала холодная волна.

Суфлер в изумлении захлопнул книгу, в ней не было ни одного слова, похожего на эти, полные мрачной скорби слова.

Скрипач, начавший было тянуть сурдинку, остановился и застыл на месте, с раскрытыми от ужаса глазами.

А она каким-то надорванным голосом рассказывала историю своей несчастной, погибшей любви, роптала на небо и просила у него смерти, молилась за человека, разбившего ее жизнь, и призывала на его голову проклятия. В зале царила гробовая тишина, каждое слово было слышно с ужасной отчетливостью...

Вдруг Гольская остановилась и медленно подошла к рампе. Она уже не рыдала, не ломала в отчаянии рук; ясное спокойствие разлилось по ее лицу. В руках у нее сверкал и искрился граненый флакончик с темной жидкостью.

Ах, какой отвратительный запах... Страшно... Надо сделать усилие... Горько...

Жжет в груди... Она обвела зрителей большими, изумленными глазами...

побледнела, зашаталась и со страшным, раздирающим душу криком упала на пол. Восторг и какое-то растерянное недоумение изображались на бледных лицах зрителей. При гробовом молчании медленно опускался занавес, но мгновение, и театр задрожал от бури аплодисментов.

Гольская! Гольская! раздавалось отовсюду, раек неистово шумел и топал ногами, слышались истерические рыдания. Угол занавеса дрогнул, кто-то нерешительно выглянул со сцены и скрылся.

Гольская! Гольская! браво! раздавались неумолкающие крики; занавес опять колыхнулся, на сцену посыпались венки и букеты.

Но что это? У рампы показался человек с бледным, испуганным лицом. Он медленно обвел залу помутившимися от слез глазами и едва слышно произнес

дрожащим голосом:
Господа, Гольской не стало...